

ВЕЛИКИЙ БАНАН

РАССКАЗ



СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЁВ
Родился в Петербурге, живет в подмосковном Норолеве. Окончил Московский государственный университет культуры. Работал журналистом и редактором, был сценаристом радиопе-

редачи «Обланы» на «Радио России», главным редактором журналов «Цитата. Классики глазами наших современников», «За семью печатями». Работает в пресс-службе АО «Атомстройэкспорт».

Во второй год Гэнроку, в седьмой день второй декады третьего месяца, меня укусила вошь. Омытая дождем луна смотрела в окно. Стонал банан, в кадку падали капли, не спали мыши на чердаке. Я понял, что и мне больше не уснуть, и решил пойти поглазеть на лавки торговцев у моста перед воротами Эдо.

У моста Надзюбаси перед воротами Эдо я немало поглазел на лавки торговцев, но никого, кроме ночных сторожей с бесполезными фонарями, не встретил. Я решил еще немного полюбоваться убогой роскошью закрытых магазинчиков и уже после этого пойти к себе спать, и тут увидел Дзинь-хуа. Под глазом у Дзинь-хуа зеленел бланж, из-за пояса поблескивало горлышко кувшина. Я понял, что Дзинь-хуа уже достала где-то sake и теперь торопилась домой.

– Банан, ты домой? – сказала Дзинь-хуа. (Она спросила, куда я иду.)

Я сказал, что:

– Да!!!

– Ну, пойдём, нам по пути, – сказала Дзинь-хуа, и мы понемногу пошли.

По дороге мы разговорились.

– Выпить хочешь? – спросила Дзинь-хуа.

– А муж-то твой дома? – сказал я.

– Ясукити-то? Да он спит.

Мужа Дзинь-хуа, Ясукити, я знал хорошо. Я со-

гласился и пошел с Дзинь-хуа к ним в их хижину у реки на опушке бамбуковой рощи.

В крытом тростником домике было тесно, как в пещере монаха Сюдзэндзи. Повернешься и расцарапаешь нос о стену. Моя опустевшая тыквагорлянка и та просторнее.

Мы расположились в углу и понемногу стали пить sake. Так понемногу да понемногу мы выпили кувшинчик sake. Я выглянул на улицу. Развешенная солома пахла улитками и холодным морем. Надрывались цикады. Светало. Реку заволокло дымкой тумана. Вверх по течению пролетела кукушка. Ее напрасный крик долго стелился вслед за ней по воде. Я посмотрел на восток – он уже алел – и сказал Дзинь-хуа:

– Пойди подними Ясукити, может, и он выпьет.

Дзинь-хуа протянула руку и стала будить мужа. Ясукити не встал. Тогда Дзинь-хуа повернулась ко мне и сказала, что, мол, пойдешь сам подними, а то он не встает.

Я нагнулся и ткнул Ясукити в бок. Послышалось ворчание, я сел в угол, и вскоре с нами рядом сел Ясукити.

– Сake будешь? – спросил я.

– Сake больше нет! – сказала Дзинь-хуа.

– Ну и врешь! – рявкнул Ясукити.

– Сake больше нет, есть одна вода.

– Воду я не пью.

- Саке у меня нет.
- Какое же рожна ты меня разбудила?
- Если будешь, то я куплю.
- Чего нехватишься, ничего у них нет. Семейка, тэнгу вас дери!
- Так, значит, я куплю? – обрадовалась Дзинь-хуа и, не дожидаясь ответа, дала мне денег на один кувшин саке.

Недалеко от моста Надзюбаси я встретил компанию молодых торговцев и чиновников. Они, должно быть, с ночи расположились на свежем воздухе, наслаждались луной. Луна давно скрылась, а они все сидели за саке и закуской. Я решил немного понаблюдать за ними. Я решил немного понаблюдать за ними, а уже затем пойти по своим делам, но тут один парень, похожий на лисицу, крикнул:

- Вон стоит дедок, с виду – не то монах, не бродяга, но все же позовем его, пусть присоединится к нам! (Они позвали меня к себе.)

Я подошел ближе, и тогда похожий на лисицу обратился ко мне:

- Достопочтенный, каждый из нас должен сочинить стихи о полной луне. Мы сочинили уже по целой дюжине за эту ночь. Солнце давно взошло, но мы так и не выбрали победителя. Сваргань и ты чего-нибудь. Приз – кувшин саке.

Описывать луну днем было против правил, но я сказал, что:

- Я скромный деревенский житель. Прошу великодушно меня уволить.

Но все закричали:

- Нет, нет! Мы не можем тебя уволить! Ты должен сварганить по крайней мере одну частушку. Неважно, дока ты в изящном искусстве или, как мы, простаки.

...Где-то через час, возвращаясь в хижину Дзинь-хуа с двумя кувшинами саке, я встретил по дороге своего ученика. Сквозь потертый нелакированный халат просвечивали ребра, но зажатый под мышкой сверток придавал ученику значительный вид.

- Иду продавать тростниковый плащ, – сказал он.
- Есть тут одна фатера, но в ней не чисто.

Ученик не совсем понял смысла слова «не чисто», и я сказал, что:

- Там проживают мусорщики Дзинь-хуа и Ясуки-ти. Их занятие – убирать мусор.
- Я знаю их! – вспомнил ученик, и мы пошли к Дзинь-хуа и Ясуки-ти.

Живот у меня подвело, саке ударило в голову, и я не помнил хорошенько, как имя ученика.

По дороге ученик сказал:

- Плащ продаю за кувшин саке!

Пока мы шли, над морем польхнула молния, и потом грянул гром. Ливень приближался к нам, как отряд верховых хамомотто. Запахло мокрой землей. Потом к этому запаху примешивался кислый запах бамбука, и окрестные горы спрятались в тучах. Мы ускорили шаг, но стрелы дождя нас догнали и пронзили насквозь.

У бамбуковой рощи мы встретили Есихидэ, брата Ясуки-ти, который жил с ними в одной хижине. Я с трудом узнал его. Есихидэ был с ног до головы в грязи.

- Искал улиток на рисовом поле, – сказал Есихидэ.

- Кикаку (так, оказывается, звали ученика) принес тростниковый плащ на продажу.

Есихидэ вызвался показать плащ Дзинь-хуа.

- Хороша фуфаечка, если почистить да выпарить вшей, – сказала Дзинь-хуа, поднося плащ к огню.

- Да, плащ хороший, – подтвердил я.

- А сколько он будет стоить? – спросила Дзинь-хуа.

Кикаку сказал, что:

- Он будет стоить кувшин саке!

- Есихидэ, – позвала Дзинь-хуа, – сними свою солому и надень плащ. Если подойдет, то возьми, а потом отдашь мне деньги с матери милостыни.

Дзинь-хуа дала Кикаку один кувшин саке, мы залезли в хижину и сели к огню. Дождь лил все сильнее.

- Где Ясуки-ти? – спросил я, когда мы выпили один кувшинчик саке. – Может, и он с нами выпьет?

- Он пить отказался и пошел на работу, – сказала Дзинь-хуа.

- Что у вас так тянет со двора? – спросил я.

Дзинь-хуа сказала, что:

- Это не со двора, а с того угла, где лежит све-кровь – старуха.

В углу и вправду была навалена куча тряпья и тлела лучина.

Мы выпили второй кувшинчик саке, и я опять почувствовал запах.

- Покажите мне бабушку.

Кикаку не полез смотреть, и я дал ему тему своего пробуждения.

Есихидэ подполз к старухе первым, я – вторым, а за мной заползла Дзинь-хуа и села на корточки у лучины, раздувая ее.

Мать Ясукиги была обезьяноподобной, иссохшей старухой в древнем кимоно цвета дерева хиноки, подпоясанном сгнившей веревкой.

– Так и лежите, бабушка? – спросил я.

Старуха открыла один глаз и, что-то жуя, зашевелила ввалившимися губами. Из рта-борозды раздалось лягушачье бульканье:

– На что ты смотришь?

– Да ни на что.

– Как же! Тэнгу тебя дери! На меня смотришь!

– Сколько волка ни корми, он все равно смотрит, – сказала Дзинь-хуа, – ладно, пошли.

Все уползли.

Когда мы вернулись, Кикаку уже устало укладывал свою кисть и тушницу.

Это что? Только сон?

Или вправду меня закололи?

След укуса блохи.

С улицы шел сплошной, напряженный гул, дождь лил стеной. В хижину заплывала жаба. Потом раздался неясный тревожный звук. Верно, лопнул обод на бочке.

Первым торжественное молчание нарушил Кикаку.

– Великие Сайге-хоси и Ли Бо говорили, что обессмертить свое имя можно пятью хорошими частушками...

– Это хорошая частушка! – Я похлопал Кикаку по плечу.

– Это очень хорошая частушка! – сказала Дзинь-хуа.

– Если не отличная! – уточнил я.

– Считай, Кикаку, что одна хорошая частушка у тебя уже есть. – Дзинь-хуа потрянула кувшинчик, но он был пуст.

– Старик До Фу уверял, что обессмертить свое имя можно и двумя-тремя хорошими частушками. – Я взял кувшинчик из рук Дзинь-хуа и на всякий случай тоже его встряхнул. – Пять хороших частушек – это уже Великий мастер!

Со стороны реки доносился высокий звон. Потом он стал ниже, ниже, и стало ясно, что дождь стихает. Дождь уже не звенел, а мерно шуршал по банановым листьям на крыше, еле слышно возился в банановой роше и нашептывал что-то древнее, убаюкивающее о тропинках в Оу, о луне в Мацусиме, о небе Куробэсидзюхатикасэ.

Кикаку и Есихидэ пошли за sake. Я остался с Дзинь-хуа в хижине. Я остался с Дзинь-хуа в хижине один. Ее волосы поблескивали, как мокрая кисть. Пахло парным молоком и мокрыми листьями бамбука. Дождь чуть слышно шелестел по крыше.

– Слепой, – сказал я. – В народе говорят: «Царевна плачет».

– Как бы мне нашей «царевне» помочь, измучилась бедняжка совсем? А, Банан? Пособишь?

– Пособить? Кому?

– Ну, кому, кому? Бабушке. Бабе Оцу.

– Да нет, наверное... – сказал я. (Я понял, на что намекает Дзинь-хуа.)

– Замучилась же бедняжка совсем! Нет у нее больше сил, Мацио! Татсуя Такешиги, ее муж Ота, дети их – Цутоми и Куоко – все умерли.

– Умерли?

– Все, все умерли. Один Ясукиги да лоботряс Есихидэ у ней и остались.

– Татсуя и Ота умерли?

– Умерли, умерли. Все дети их умерли. И Цутоми, и Куоко, и Аой, которая дочку родила от отца.

– Хорошая была женщина, приветливая!

– А вот собака у нее мерзкая...

– Девчонка у Аой была хорошая – Юрико. Бегала такая, помню, хвостик всегда – кверху.

– Умерла. Прямо на свадьбе соседей и умерла.

– Юрико умерла?

– В одном углу свадьба, в другом – поминки. А помнишь Сукэкуро?

– Хего Сукэкуро?

– Упал с горы, ловя кувшин sake.

– Бедный Сукэкуро! Он говорил, что «вернись-трава» звучит как «фиалки на могильном холме».

– Помнишь песню, которую он сочинил?

– Помню ли я? Не было борделя, в котором бы не пели ее. Бедный Сукэкуро! Я хорошо знал его сына, Инсуна.

– Умер.

– Не знал, что Инсун так слаб здоровьем.

– Умер, умер. Все умерли.

– И мастер Во?

– И мастер Во, и учитель Но, и господин Наосиги. А, Мацуо? Пособишь?

Она назвала меня Мацуо, но я сказал, что:

– Даже не знаю. Не знаю. Не нравится мне это.

– А, пустяки! Кто ее хватится?

– Нет. Не нравится мне это.

– Что же делать? Мама измучилась вконец.

– Отнести ее на гору...

– Мороки много.

Я встал.

– Уже уходишь? – сказала Дзинь-хуа.

Я сказал, что:

– Да.

Я выглянул на улицу. Лес, казалось, еще больше надвинулся на хижину. Под деревьями густел су-

мрак. Ни единого птичьего крика не было слышно. Я подумал, что скоро расцветут сливы в Уэно и Янаке, вспомнил о прошлогодних ночевках среди ветра и облаков, и у меня сжалось сердце.

Я обернулся и спросил:

– Слышь, Дзинь-хуа, а если я зайду вечером, мы найдем еще немного саке?

Дзинь-хуа сказала, что:

– Найдем!

Пока я шел к себе, ветер высушил мою одежду. Живот у меня подвело, кажется, дай ему сырую рыбу, проглочу вместе с чешуей. Зато я совсем согрелся и задремал, прислонившись к стене. Переодеваться не стал: мой бумажный халат изорвался совсем, и я так и уснул – в лакированном.

Ближе к вечеру я пришел к бамбуковой роще, чтобы рассказать Дзинь-хуа, что на вишнях, склонившихся над старым прудом, полураскрылись почки. Дверь мне открыл Ясукити. Я спросил Дзинь-хуа. Ясукити ничего не ответил и захлопнул дверь. Я снова стал стучать, тогда Ясукити вышел и ударил меня в лицо. Не иначе, как в него вселился тэнгу или другая нечистая сила. От кровоизлияния в нос я потерял сознание, и сколько я пролежал, не знаю. Потом я встал и пошел к себе. И только в час Быка я узнал, что в хижине на опушке бамбуковой рощи была убита баба Оцу – мать Ясукити. Преданный Кикаку предупредил, что Дзинь-хуа – это порождение барсука и лисицы – донесла, что якобы это я удавил старуху, а хату почистил. До сих пор, вспоминая об этих жестоких словах, мне хочется отрезать себе оба уха и сварить из них сябу-сябу – я ведь только посмотрел на старуху, и за то время, пока я был в ее углу, можно было произнести не больше двух-трех частушек.

И вот прошел год, другой, третий. За это время Дзинь-хуа и Ясукити умерли от цирроза, моя банановая хижина сгорела дотла во время большого пожара в Эдо, а я все брожу и брожу по тропинкам Севера, не смея появиться дома. Густые туманы встают на моем пути, тысячелетние сосны тают в таежном мареве, белые цапли летят на юг, а я все иду и иду беспечно вдоль берегов, от привала к привалу, среди гейзеров, цветов и голых ветвей, под студеным дождем и ветром осенней поры. Не иначе, окончу свой век в пути, как великие Сайге-хоси, Ли Бо и старик До Фу.